

Рыклин М.К. (Москва—Берлин)

1

Его нет с нами 20 лет. Что было, невольно спрашиваешь себя, в этом человеке, в Мерабе Константиновиче Мамардашвили, такого, что позволяет и сегодня вести с ним диалог, испытывать воздействие его дара, более того, увидеть его в новой (для меня самого) перспективе?

Философов, способных написать значительные тексты, намного больше, чем тех, у кого есть дар преподавания, передачи любви к мудрости другим.

Мне повезло встретить двух мыслителей, для которых дидактический проект, научение философии, стоял на первом месте, — Мераба Мамардашвили и Жака Деррида. Разница в том, что Мамардашвили я встретил в возрасте двадцати лет, когда обучаемость максимально высока, а с Деррида познакомился, когда мне было уже за сорок; соответственно способность воспринимать в его речи то, о чем его тексты — к тому времени всемирно известные, переведенные на десятки языков, — не давали полного представления, была существенно ниже. К этому надо добавить языковые ограничения и разность культурных контекстов.

Но, оказавшись в Париже в 1991 г., я понимал язык Деррида, Бодрийяра, Нанси, Гватари. И что куда более важно, они в достаточной мере понимали меня. Того, кому кажется, что это обстоятельство (взаимопонимание людей, получивших философское образование) тривиально, следует разочаровать — многих из моих коллег французские философы не понимали и не уставали жаловаться на это. Почему не понимали? Потому что те говорили не на языке метафизики, а на языке религиозной философии, связанном, с одной стороны, с русской литературой, а с другой — с православной теологией (сильно отличавшейся от более известной им — и критикуемой с точки зрения секуляризма — теологии католической).

В том, что диалог с западными философами (и далеко не только мой), хотя и не без проблем, в начале 90-х гг. в состоялся и продолжился потом, велика заслуга нашего первого учителя, Мераба Константиновича Мамардашвили, вдохновенного соз-

дателя русского метафизического языка, педагога сократического в полном смысле этого слова, вводившего, инициировавшего в мышление, на личном примере показывавшего, как *выглядит* мыслительный акт.

Ошибается и тот, кто думает, что обучение философии у «грузинского Сократа» проходило только во время лекцией и семинаров; те, кому посчастливилось с ним общаться, знали, что и обычные, казалось бы, бытовые разговоры были наполнены оригинальным постижением жизни в ее незаметных, запредельных здравому смыслу деталях, ненавязчиво заставляли поставить под сомнение устоявшиеся очевидности.

Он решительно не принимал окружавший «воздух культуры», советскость представлялась ему «антропологической катастрофой», «раной в бытии», чудовищным заблуждением от начала до конца. Он видел в ней продолжение «мечтательности», «инфантильности» русской культуры (в этом смысле он считая себя продолжателем дела Чаадаева). Мамардашвили был замечательным рассказчиком. Помню его рассказ о приезде в Грузию во время празднования 50-летия СССР. Семья сидела за столом, и вдруг погас свет. Чинить позвали электрика, простого русского парня, которого также пригласили за стол. Он стал говорить, что вот сегодня такой великий день, великий юбилей и что теперь его, этот день, также, наверное, будут праздновать. «То есть, — со смехом восклицал Мераб, поднимая глаза к небу, — ему было недостаточно одного юбилея, внутри него уже зрел другой. И все это совершенно искренне, с незамутненными, голубыми, детскими глазами. Ну что тут поделаешь! Туши свечи!»

Но Мамардашвили учил не только словами. Он был способен на необычные дружеские жесты, на многое открывавшие глаза.

Весной 1977 г. из-за отсутствия кворума у меня в Институте философии сорвалась защита. Дома закуплены продукты, накрыт стол, все расстроены. Вдруг звонок. На пороге стоит Мераб Константинович. Он знал, что защита не состоялась, и *именно поэтому* пришел. Мама, жена были поражены — как-никак это был его первый визит. «Неужели будешь расстраиваться из-за такой ерунды?» — прямо с порога сказал он. Сели, поели, выпили, поговорились — плохое настроение как рукой сняло.

День остался в памяти светлым пятном.

Я был бы счастлив, если бы мне удалось столь же естественно и непринужденно, как нечто само собой разумеющееся, поддерживать другого человека.

Когда месяц тому назад я выступал на посвященной Мерабу Мамардашвили конференции в Институте философии, Эрих Соловьев, который вел заседание, вспомнил осень 1976 г., когда он и, если не ошибаюсь, Николай Новиков с женами приехали навестить Мераба в Пицунду, и он сказал им: «Только не говорите со мной о философии. Видите, вон тот аспирант на пляже, мы все утро проговорили с ним на эти темы. Он все из меня вытянул, больше не могу».

Действительно, две осенние недели, проведенные вместе с учителем на берегу Черного моря, больше изменили в моем понимании философии (а стало быть, и жизни), чем десятки прочитанных книг.

Мамардашвили и Деррида роднило (кроме того, что оба всю жизнь курили трубку) переживание философии как призвания и способность передавать это во многом интуитивное знание. Но их отношение к текстуальности, к письму, к голосу, к системосозиданию сильно различалось. Когда в 1991 г. готовилась к изданию на французском языке книга бесед Мамардашвили с Анни Эпельбуэн, издатели обратились к Деррида с просьбой откликнуться на нее в печати. Ознакомившись с содержанием, создатель деконструкции от этого предложения под благовидным предлогом отказался. В частной беседе он сказал, что понимает Декарта принципиально иначе, чем грузинский коллега; кроме того, незнание контекста, в котором тот работал, не дает ему права выносить суждение — тем более что он слышал о грузинском философе в Москве столько хорошего. Жак Деррида, всю жизнь, начиная с «Голоса и феномена», «Грамматологии» и «Письма и различия», выступавший против «фонологоцентризма», приоритета голоса перед письмом внутри метафизики, по понятным причинам испытывал проблемы при соприкосновении с мышлением, во многом опиравшимся на голос, так и не ставшим до конца текстуальным, принципиально отказавшимся от системосозидания.

2

До недавнего времени я считал, что научение языку метафизики было главной заслугой Мамардашвили. Недавно дар Мераба предстал мне в ином свете. Перечитывая «Жизнь шпиона», «Мой опыт нетипичен» и другие тексты конца 80-х гг., я вдруг осознал, что же все-таки было для меня этим главным.

Одиночество, *сущностное одиночество* жизни, подчинившей себя целям мышления, — в этом, как видится теперь, ключ к пониманию дара этого человека (дара в обоих смыслах: того, которым он обладал, и того, которым он делился). Сущностное одиночество не имеет ничего общего с одиночеством обычным, здравосмысловым, с заброшенностью, покинутостью, отчаянием загнанного в угол существа; напротив, из него черпают силы, оно выдерживается с радостью, более того, неотразимо притягивает к его носителю других людей. У «шпиона» не было недостатка в друзьях и знакомых, и знаменитых, и менее известных, и анонимных, но он сделал все для того, чтобы его опыт остался нетипичным, неподводимым под общий знаменатель.

Всю сознательную жизнь — и в Праге, и в Москве, и в Тбилиси — его окружали успешные, ориентированные на здравый смысл люди, которым казалось: «рану в бытии» можно залечить, «антропологическая катастрофа» — продукт неудачного стечения обстоятельств, которое им под силу изменить. Но и их Мамардашвили заставил уважать свое право на сущностное одиночество, и с ними он по мере возможности делился своим даром, и даже те, кто не смог в полной мере воспользоваться плодами общения с этим необычным человеком, думаю, хотя бы на мгновение испытали изначальное философское чувство, удивление. Удивление перед границей, которой он добровольно отделил себя от них, перед нематериальностью, внемирностью («ненатуральностью», по его любимому выражению) и в то же время неоспоримой насущностью того, чему он посвятил жизнь. На манер древних он связывал философию с «личным спасением», избавлением от заброшенности в мир не-своего сознания. Природа, слышали мы от него, не рождает людей. «То, что рождается, есть лишь потенциальный человеческий материал, в котором людям еще суждено родиться»¹. Казалось бы, знакомая экзистенциалистская (в частности, сартровская) тема, но для Мамардашвили она — ядро древнего, изначального философского усилия. Его целью было родить самого себя, собственным усилием оторваться от случайно унаследованного естества. Именно ей, этой цели, служило сущностное одиночество, именно это устремление все — кто более осознанно, а кто, скорее, инстинктивно — в нем уважали. Всё, как я теперь понимаю,

¹ Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики. М.: Прогресс-Традиция; Фонд Мераба Мамардашвили, 2009. С. 16.

не ограничивалось иницилирующим говорением, а исходило от всего его существа: манеры одеваться, двигаться, слушать, курить трубку.

3

В течение более двадцати лет он был невыездным; его не выпускали даже в социалистические страны. Трудно было придумать более изощренную пытку для убежденного европейца. Ностальгия по Европе, особенно по Франции, по Парижу, нашла отражение в возвышенном образе «агоры», в представлении о «нормальности» тамошнего общества, о выполненности в нем (в отличие, конечно, от безнадежного в этом отношении русско-советского примера, от опыта не-культуры) определенных актов мысли.

С этим связано то, что я называю «парадоксом Мамардашвили»: с одной стороны, есть акт мыслительного усилия, осуществляемый на свой страх и риск, без каких-либо внешних аранжий, сущностно одиноким человеком, а с другой — существует мыслительная культура, закрепленная в институтах определенных («нормальных», обладающих «агорой») обществ. Получается, что люди, рождающиеся в этих привилегированных обществах, могут воспользоваться проделанной другими (поколениями их предков) мыслительной работой в готовом виде. Но это как раз подрывает представление о философии как о пути индивидуального спасения, возможного лишь через усилие и благодаря ему.

В его жизни этот парадокс остался неразрешенным, сохранился как родимое пятно советской истории.

Любопытно и другое: остро переживая свою вынужденную физическую оторванность от Европы, Мамардашвили сознательно отказался эмигрировать из СССР. Луи Альтюссер приводит слова «дорогого друга Мераба» на этот счет: «здесь по крайней мере видишь вещи такими, какие они есть, без прикрас» (в другом тексте Альтюссера это обоснование звучит несколько иначе: «Я остаюсь, поскольку именно здесь можно видеть обнаженную суть вещей»)¹. Странно на первый взгляд, не правда ли? Человек остается в ненавистном ему «царстве теней» добровольно, уверяя, что именно там ему открывается «обнаженная

¹ Там же. С. 272.

суть вещей» и они предстают «такими, какие они есть, без прикрас»?! Но если вдуматься, никакого противоречия здесь нет: опыт сущностного (добровольно избранного, принятого на себя) одиночества в своей полноте осуществим именно в «царстве теней», а не там, где мыслительная работа проделывалась поколениями, окостенела в виде социальных институтов. Короче, враждебность среды обеспечивала полноту сущностного одиночества, сохранить которую в более благоприятных обстоятельствах было бы труднее. К тому же он чувствовал колоссальную востребованность своего опыта именно в этом месте, на пространствах СССР: сначала в Москве, а потом в Тбилиси, Вильнюсе, Риге... Его лекции неизменно собирали полные аудитории, его слушали затаив дыхание, везде у него были способные ученики.

4

С тех пор утекло много воды; пал железный занавес, пересечение границы перестало быть проблемой, во всяком случае политической. «Парадокс Мамардашвили» постепенно рассосался сам собой, от его возвышенного представления о западных обществах как «нормальных», «человеческих» почти ничего не осталось. Из того, что пока жить в них для интеллектуала часто лучше, чем в России, нельзя, как выяснилось, вывести никакого онтологического преимущества; о том же, как устроена в них свобода, лучше поинтересоваться у Ницше, Фуко и Бодрийера, чем у автора «Жизни шпиона».

Но дар Мераба был в другом: в мужественном неприятии очевидного, в страстном желании увидеть всё *своими глазами*, вне случайностей «естественного», «натурального» рождения.

И за двадцать лет он не потускнел, местами блестит даже ярче, чем тогда...